

Поддавшись на уговоры соседа, кривого Савелича, любителя выпить и потолковать по душам, Гаврила решился-таки свести свою старую, никчемную корову на бойню, полагая выручить за нее тысяч хотя бы пять, из которых Савелич за добрый совет рассчитывал получить на бутылку. Едва занялась заря, Гаврила вывел из покосившегося коровника мосластую, неопределенного окраса буренку, передвигавшуюся с неуверенным припаданием на передние копыта, и, обвязав ей шею веревкой, раздраженно и даже озлобленно, как человек, сознающий порочность своих действий, но не способный ничего изменить, дернул ее на себя.

— Ну что, старуха, пошли, что ль? — вздохнул он хмуро.

Путь был не близкий: сперва полем, напрямиком к дальнему лесу; там — через лес, по тропке вдоль озера; потом — Полушкино, где живет свояк Семен Грыжа с супружницей — сварливой, как цепная собака, хозяйственной теткой; за деревней — опять полем и опять лесом; и только потом, за лесом, в низине, обогнув голый, что череп Савелича, холм, — мясокомбинат с примыкающей к нему кооперативной скотобойней. Вот такая дорога.

День обещал быть сухим, ясным. Солнце еще не рассталось с землей, а уж повсюду звенел радостный птичий щебет, приветствующий восход. С вышины, лаская щеки, струилось утреннее тепло. Да и вообще, настроение у природы было приподнятое.

Намотав веревку на руку, Гаврила медленно повел корову через поле.

— Безмозглая ты животина, скажу я тебе. Неосознанное существо, — говорил он, подергивая за веревку. — Ведут тебя на убой, как тупую овцу, а ты вот идешь, идешь и знать не знаешь, куда тебя такую волокут. Всякая тварь на земле смерти боится. Я боюсь. Куры боятся. Собака Найда тоже боится. Зоотехник наш Иван Пантелеич, тот, что на Рождество взял у меня червонец деткам на пряники, пропил, дрын ему в рыло, да так и не вернул, когда ночью зимой в канаве проснулся, так полз до дому, как на фронте, целый квартал по морозу, так жить захотелось. Только палец себе отморозил — во как! Я тебе больше скажу: даже президент наш всеобщий, подозреваю я, смерти себе не желает. А ты? Что тебе жить, что не жить — тьфу! Вон, глянь, кузнец, и тот из-под ног шныряет — опасается, как бы я на него наступил, держится за жизньешку свою. Чем же ты лучше насекомого, я тебя спрашиваю? Говорят, самое глупое существо на свете — корова. Верно, видать, говорят. Тебе самой-то не стыдно, еж твою налево?

Гаврила зыркнул через плечо на корову, которая покорно плелась позади, не проявляя никаких эмоций. Очевидно, все силы ее уходили на то, чтобы передвигать копыта. Меж задних ног болталось высохшее вымя, от которого давно уже не было никакого толку.

— А с другого-то боку — чего бояться? — продолжил рассуждать Гаврила. — Все там будем. Верно ведь? Так и так чего-нибудь будет, как не может же совсем ничего не быть. Что скажешь? Э-э, от тебя дождешься. А только дьяк из Крекшена села божится, что и на том свете жить можно. Тама, может, оно даже и полегче. Нам ведь чего надо? Передохнуть. Маету свою укоротить. Соснуть вроде как. Вот ты в стойле спишь? А я о чем говорю! Тебе ж оно все равно, где спать-то — тут или там, на небушке. Дьяк обещает, что там ти-ихо, ладно. Одно удовольствие. И будешь ты, как есть, в розовых штанишках прыгать да травку щипать. А? Хм...

Некоторое время Гаврила шагал молча, о чем-то напряженно думал, а как только зашел в лес, взбудоражился.

— Да что я тебя уговариваю?! — рубанул он ладонью по воздуху, распахиваясь. — Не маленькая, поди, сама должна понимать! Идет, понимаешь, помалкивает. Ишь ты, фифа какая! Как будто она ни при чем! Как будто ей дела нету! А что прикажешь с тобой делать? Сено жрешь, почитай, целую зиму. Навоза — тьфу! А молоко? Молоко где? Нету молока! Старуха

ты! Старая безмозглая корова. Старая, несообразная! Чего с тебя ждать? Какую пользу, я тебя спрашиваю? Я понимаю, у Савельевых корова — дойная, крепкая — а всего-то лет на пяток тебя моложе. А как пасется! Гладкая, тучная. А ты? Погляди на себя. Кожа да кости, еж твою налево. Ходишь, ровно с бодуна, того и гляди ветром снесет. Смотреть невозможно! Тебе ж и так жить-то осталось — всего ничего. Какая разница?

Навстречу попалась тетка Анна, маленькая, бойкая пенсионерка, похожая на раскормленную, но не утратившую живости утку.

— Ты чего шумишь? — тетка Анна поставила на землю сумки и отерла локтем пот со лба. — За версту тебя слышать.

— Да вот... корову веду, — смущенно пояснил Гаврила.

— Куда?

— Да на бойню.

— И-и-и! Корову? На бойню? — всплеснула руками Анна, строго посмотрела на Гаврилу. — Вот Марфа уж задала бы тебе трепку. Она же за ей, как за дитем, ходила. С соски ее выкармливала. Она же ей, как роднуля, была. Помнишь, как запор у ней случился, чего только не делали — стыдно вспомнить... Целую ночь с ней провозились. А выходила... А это... как его... когда с копытами болезнь у нее была? Помнишь? Фельшера ажник с Извойска доставила. Ночью! Во как Марфа ее любила!

— Ладно, — угрюмо отмахнулся Гаврила, — не крути душу.

Переваливаясь с боку на бок, Анна шустро обошла кругом корову, присела на корточки и заглянула ей под брюхо.

— А с другой-то стороны, и пусть, — неожиданно сменила она мнение. — Старая она. Молока-то, небось, с гулькин нос дает?

— Да какой там нос! Совсем не дает.

— Ну, тогда чего ж? — развела она руки в стороны. — Тогда веди. Куда ж деваться? С такой коровы в хозяйстве один убыток. На что она тебе? Глядишь, денег каких выручишь. Хотя, думаю, много за нее не дадут, не-а. Тоща слишком.

— А я чего говорю? — благодарно встрепенулся Гаврила. — Я, к слову заметить, механик тракторного цеха. На кой мне она? Да еще такая.

— Не нужна. Не-а. Совсем не нужна. Веди. Хоть какая польза от нее будет.

Тетка Анна выдохнула, собираясь с силами, взяла сумки и, прежде чем пойти своей дорогой, задумчиво бросила:

— А Марфа бы не одобрила. Не-а, не одобрила. А так, чего с ней делать, с коровой-то? Не знаю. Думаю, правильно делаешь. Этакая корова в хозяйстве — один убыток.

И Анна резво потопала в одну сторону, а Гаврила с коровой продолжил свой путь в другую.

Молчал он долго, сосредоточенно. Шаги становились все тяжелее. Потом он сел на кочку, охватил голову руками. Корова тоже остановилась. Ей было все равно — идти или стоять. Но она устала. Ее ввалившиеся бока с усилием вздымались и опадали. На тощей шее голова со сломанным рогом выглядела огромной.

Плечи Гаврилы поднялись, он отнял от лица мокрые от слез ладони, подошел к корове и, глядя ей в тревожно выпученный сапфир глаза, дрогнувшим голосом спросил:

— Марфу-то помнишь? Марфу мою... помнишь? Эх ты-ы...

Не сдержавшись, он приник к широкому лбу коровы, слезы ринулись наружу горячо, безутешно, как у обиженного ребенка. Корова шумно втянула воздух, потом выпустила его, обдав лицо Гаврилы теплым, сырым паром, и почудилось ему, будто и она вспомнила Марфу, будто и ей грустно.

Всхлипывая, Гаврила намотал веревку на руку, и они с коровой двинулись дальше.

— Думаешь, легко так-то вот? — отвечая каким-то своим соображениям, обратился он к покорно плетущейся за ним корове. — А ты сама-то попробуй: и кур накорми, и дров накопи, и ужин сваргань. А сварганишь — жрать неохота. По дому опять же... Вернешься с работы — без ног, поперек кровати грохнешься — встать сил нету. Какая в жизни радость? — эх-х!.. Сам бы на бойню отправился, заместо тебя — да не примут. Скажут: совсем умом рехнулся мужик. Иди-ка ты, скажут, в сарай. Там хоро-ошая перекладина имеется... Ох-хо-хо...

Дойдя до озера, Гаврила решил сделать привал, чтобы перекусить. Он расположился на сухой солнечной лужайке между берегом и кромкой леса. Достал из сумки сверток, развернул, вынул полбатона белого хлеба, кусок колбасы и шкалик водки.

Под порывами слабого ветерка слегка покачивались и сухо шуршали камыши на прибрежной отмели. На них садились стрекозы и спустя мгновение исчезали. Вода в озере была спокойная, почти неподвижная; лишь бегающие туда-сюда водомерки создавали какое-то оживление. Не шумел лес и даже не слышно было птиц — природу охватил сонный дневной штиль.

Гаврила крякнул и залпом проглотил водку, забросил пустой флакон в воду и только тогда откусил колбасы с хлебом. Жевал долго, с усилием, нечем было запить, потом тяжело проглатывал. В руке осталась большая половина хлеба. Гаврила посидел минуту, прислушиваясь к своему организму, потом поднялся и подошел к корове, которая понуро и неподвижно стояла на месте — один только хвост вздыгивал от укусов слепней.

— Ты чего траву не кушаешь? — спросил Гаврила. Он нагнулся, вырвал клоч травы и поднес ко рту коровы. — На, ешь.

Корова даже не отвернула голову — так и стояла, безразличная к угощению.

— Не хочешь? — нахмурился Гаврила. — Ничего с утра не ела. Надо поесть. А то ведь так не дойдем. Трава свежая, зеленая... Чего тебе?

В поведении коровы ничего не изменилось.

— А дай-ка я тебя сейчас угощу, — он разломил горбушку хлеба и поднес ее к носу коровы. — Что скажешь, а?

Неожиданно корова ожила, ноздри расширились, она неуверенно переступила с ноги на ногу и осторожно, точно опасалась задеть руку хозяина, приняла хлеб. Челюсти ее пришли в энергичное движение, она принялась жевать хлеб с таким усердием, размахивая длинными, жилистыми ушами, помогая языком, вываливая изо рта до корней съеденные желто-бурые пеньки зубов, словно хлеб был не хлеб, а кусок мяса.

— Вот это я понимаю! — обрадовался Гаврила. — Вот это славно! Вкусный хлебушек-то, а? Еще бы! Эх ты-ы... На, бери еще!

Потом он подвел корову к воде и дал ей напиться.

— Ну, вот, — удовлетворенно похлопал он ее по костлявому крупу, — теперь можно и дальше двигать.

И они пошли дальше.

День давно перевалил за середину, когда Гаврила с коровой вышел к Полушкино.

Приближаясь к дому свояка Семена Грыжи, Гаврила размышлял: заглянуть к нему или пройти мимо? Отношения у них, по правде сказать, сложились не самые близкие. Семен, занимавшийся торговлей необрезной доской, зажиточный мужик тяжелого телосложения и такого же тяжелого нрава, заглазно презирал свояка, считая того слабаком и неудачником. Гаврила чувствовал это и старался лишней раз не встретиться с родственником, а когда все-таки виделся, большой радости не испытывал. Оттого и решил он идти себе восвояси, не заходя к Семену и его супруге.

Но стоило поравняться с домом Грыжи, как в отворяемом окне сверкнуло солнце, и сочный бас Семена прогрохотал ему в спину:

— Ага! Ого! Сваяк пожаловал. Чем обязаны?

Пришлось остановиться.

— Да вот, корову на убой веду, — махнув рукой, ответил Гаврила смущенно.

— Корову? А чего ж не заходишь? — Грыжа высунул в окно массивные плечи, обтянутые майкой, в которой им было тесновато. На квадратных губах его блуждала глумливая улыбка.

— Да спешу я. Как бы бойня-то не закрылась.

— Нет уж, погоди. То-то я смотрю, у меня во сне сегодня всю ночь двери скрипели, как несмазанные. А это ты! Ты явился. Сон, вишь ты, всегда в руку. Его не обманешь. Дай хоть погляжу на тебя — с весны ж не виделась. Забыл, какой ты есть гражданин.

За спиной Грыжи замаячила растрепанная голова жены.

— Рванем, что ль, по рюмашке? За встречу, — предложил Грыжа и спрыгнул из окна на двор. — Людка! — крикнул он. — Принеси бутылку! Там, початая — в холодильнике!.. Давеча, — вернулся он к Гавриле, который маялся, ища повод, чтобы откланяться, — свинью резали. Ты резал когда-нибудь свинью? Э-э, да кого я спрашиваю? Это, брат, уметь надо, свинью грамотно резать. Визгу, кровищи! — я тебе доложу! Перамазались все с ног до самой макушки. Прихожу домой мыться, весь окровавленный — Людка в обморок. Я — откачивать; она глаз откроет, глядь на меня — и опять в обморок. И опять в обморок. И опять в обморок.

— Да слушай ты его, — фыркнула жена, появившись с бутылкой и стопками. — В обморок! Его самого откачивали. Крови боится. А я — привычная.

— Слышал? — подмигнул Грыжа, кивнув в сторону жены. — Майорша! С батей своим, тестем моим, в гарнизонах служила. Зверь, а не баба! Теперь меня строит. Держи стакан!

— Да я не...

— Держи — наливаю! Эта водка на можжевельнике. Такую только во Францию продают. И в Австралию. А мне кореш по знакомству удружил. Хороший кореш, кадровик на хлебзаводе. «Жалко, говорит, такой продукт на кенгуру изводить». Пей, чтоб знать, какая водка на свете бывает! Привык, понимаешь, всякую дрянь хлебать. Небось, самогонку гонишь?

— Не гон...

— Знаем, знаем. У тебя на морде написано! Культурных напитков не пробовал, сразу видно. А знаешь, сколько такой пузырь стоит? Месячной твоей получки не хватит, своячок, во как! Понял?

Тем временем жена Грыжи задумчиво осматривала корову. Похлопала по ребрам. Подергала за единственный рог. Потом обернулась к Гавриле.

— Значит, на бойню ведешь?

— А на кой она? — пожал плечами Гаврила. — Старая. Не ровен час, сама сдохнет.

— Сема, — обратилась Людмила к мужу, — может, возьмем корову? Сдадим Василичу, он шкуру снимет, выдубит — чуни мне, в огород ходить. И на безрукавку.

— А чего, давай, — Семен тоже подошел к корове и ткнул ее кулаком в бок, отчего та судорожно вздрогнула и вновь затихла. — Что, Гаврюха, отдашь нам свою хрычовку? Она и так на ногах еле держится. До бойни не доведешь. Я тебе тыщу дам.

— Не, не надо. Я сам... — замотал головой Гаврила и сделал движение, чтобы идти прочь.

— Э-э, нет, стой, — удержал его Грыжа. — Она и тыщи не стоит. Ну, хочешь, две?

— Не надо мне... Отведу, куда вел.

Грыжа неприятно улыбнулся с выражением само собой разумеющегося превосходства:

— Да чего ты, тютя. Дай я прямо тут ее завалю. Хошь? Кулаком. Во!

И он поднес к лицу Гаврилы здоровенный кулачище, напоминающий шар-бабу для сноса стен. С лица у него не исчезла глумливая ухмылка.

Неожиданно Гаврила отступил на шаг, заслонив собой корову, и срывающимся голосом выкрикнул:

— Уйди, Семен! Не нужны мне твои тыщи! Сказал, не надо, значит не надо! Уйди, говорю!

— Чего ты дуришь? — в глазах Грыжи блеснул огонек злобного упрямства. — Отдай корову.

Гаврила вырвал рукав из цепких пальцев Грыжи, торопливо подхватил веревку, свисающую с шеи коровы, и, не сказав больше ни слова, решительно зашагал прочь, стараясь не спешить и оттого оступаясь на каждом шагу.

— Ну, ты и шланг, — озлобленно хмыкнул Грыжа и крикнул ему вслед: — Иди, иди! Шланг юродивый!

Лишь когда крайний дом Полушкино скрылся за поворотом, Гаврила сбавил шаг. К тому же корова вдруг принялась кашлять, видимо, запыхавшись.

— Ну, этого еще не хватало, — проворчал Гаврила. — Ладно, пойду тише.

По правде говоря, от угощения свояка он слегка захмелел; захмелел и обалдел. Походка его сделалась несколько развязной, как, собственно, и настроение.

На подходе к лесу он начал хмыкать каким-то своим мыслям, а когда ступил на лесную тропу, уже не сдерживался.

— Небось, удивляешься, что ржу, навроде нашего дурачка Ивашки? — спросил он корову, не оборачиваясь. — А я тебе так скажу. Чудик он, еж твою налево. Всегда дурковал. Ему что брехать, что дышать — все едино. Кулаком, вишь! А ты уж испугалась. Эх ты-ы... Пойди и скажи. Скажи: мне таких бредов даже слышать странно. Да и не слушай его.

У нас, это, как его... сватья была. Ну, ежели кому надо, это... с кем-то. Ну, понимаешь. Вот. Так она ему в глаза говорила: мужик ты крупный, но духу в тебе маловато. Натура жидкая. Еще до Людки было. Он у ней из курятника яйца таскал поутру. Из корысти. Сватья его и застукала. Трюхнула по животу, а яйца-то — под рубашкой. Все побились. Стоит, глазами хлопает. А из штанов тече-ет...

Воспоминание возбудило у Гаврилы приступ сдавленного хихикания.

— Свинью он зарезал! Где та свинья? Видела бы ты, как этот герой улепетывал от гуся на свадьбе Люськи Пшенкиной, что приходится мне третьеюродной, что ль, кажись, сестрой. Гусь вот так растопырился, голову пригнул, шипит — и пошел на него, пошел. А наш-то сперва хорохорился, дескать, шею сверну. А потом такого деру дал, только пятки сверкнули. А гусь-то — за ним. Он прыгает, а гусь шустрый — гонял его по двору, как кота бездомного...

Гаврила залился смехом. Кулаком вытирая слезы, выдавил из себя:

— Гуся испугался, эва! Люськина гуся! Свинью он зарезал, еж твою налево! Гуся! — повторял Гаврила, захлебываясь смехом.

Он обнял корову за шею, передергивая плечами, и уткнулся лбом в ее скулу. Корова удивленно косила на него глазом и старалась не шевелиться — только уши вздрагивали от озверевших к вечеру комаров. Когда смех наконец иссяк, расчувствовавшийся Гаврила вlepил поцелуй в мокрый нос коровы, и они двинулись дальше.

День катился к вечеру. Жара спала. Тонкая прохлада пронизала воздух. В растянутых меж ветвей паутинах трепетало усталое солнце. Смолистый запах хвои, покрывающей тропу плотным и мягким ковром, сделался гуще, сочнее. Над ухом беспрерывно, то удаляясь, то приближаясь, звенел озлобленный комариный звон. Во всем ощущалось какое-то прелое утомление от тяжелого жаркого дня.

То ли от перебродившего в крови алкоголя, то ли от долгой дороги, то ли от приближения мясокомбината, а то и от всего вместе, Гаврила заметно прикис.

— Ну, все, дошли. Не бойсь, дошли, — бормотал он себе под нос. — Устала? Ну-ну...

Осевшая, изнуренная, корова плелась за ним, вывалив язык, с трудом выбрасывая копыта. Она не понимала и не могла понимать, куда ее ведет хозяин, но он-то знал точно, а значит, раз ведут, надо идти, пока есть силы. Скоро, думала корова, скоро я отдохну...

Стемнело. На небе уже высыпали звезды, когда в дверь кривого Савелича постучали. Удивленный Савелич осторожно высунулся в окно. На пороге стоял Гаврила с пластмассовой бутылкой в руке. Увидев Савелича, он сказал:



— Открывай давай. Выпьем. Спотыкач. В прошлом годе нагнал.

— Да ты ж не пьешь вроде.

— А теперь выпью. Открывай давай!

Поздно ночью — уж погас свет в окнах домов, и ночная птица умолкла, охрипнув, — в кромешной темноте пьяный вдрызг Гаврила, спотыкаясь на каждом шагу, посмеиваясь и пританцовывая под какую-то крутившуюся у него в голове музыку, выбрался на свой задний двор. Там он рывком распахнул двери коровника. Включил лампочку, прикрученную проволокой к косяку.

Корова медленно повернула к нему голову.

— Живи-и! — заорал Гаврила, отплясывая на месте, хлопая в ладони, закидывая руки за голову, заливаясь похмельным пóтом. — Жа-ви, дура!! Жа-ви, еж твою налево!! Жа-ви-и-и!!